
3. РУССКИЕ НА КАВКАЗЕ

ДАВЫДОВ НА ЭРИВАНСКОЙ ГРАНИЦЕ

Вскоре после поражения Аббас-Мирзы под Елизавет-полем и бегства его из Карабага, совершилось изгнание персиян и из русских земель, пограничных с ханством Эриванским. Исполнителем этого дела является знаменитый партизан Отечественной войны, генерал Денис Васильевич Давыдов, прибывший на Кавказ для участия в Персидской войне по личному повелению императора Николая Павловича.

Давыдов приехал в Тифлис 10 сентября [1826 г.], всего только несколькими днями позже Паскевича. Ермолов назначил его начальником войск, стороживших Грузию со стороны Эриванской границы, и Давыдов тотчас же отправился в Джалал-Оглы, сопровождаемый грузинской дружиной. Поэтичные долины древнего Иверийского царства скоро остались позади, и, миновав Акзабиюкские горы, Давыдов вступил в роскошную Лорийскую степь, носившую теперь яркие признаки недавних вражеских набегов. Печальные развалины сожженных и покинутых деревень сменялись вытоптаннами нивами, и эти следы разрушительной руки человека были тем поразительнее среди благодатной природы, благоуханной и сверкающей всеми красотоми чудной южной степи. Вдали виднелись окайм-

лявшие степь дремучие бомбакские леса; за ними вставал высокий хребет Безобдала, и, извиваясь как змеи, бежали через него дороги и в Эривань, и в Гумры, и в Ахалцых. Чудная картина раскинулась перед Давыдовым, отражаясь в его чуткой поэтической душе. Вся необозримая даль окаймлялась высокими, уже запорошенными снегом горами, и в то время, как на одних угасали последние отблески вечерней зари, другие каменные громады еще обливались розовым светом, кидая от себя голубые тени. Еще восхитительнее выглядели горы в бледном сиянии лунных ночей, когда месяц всходил на небосклон и тихо плыл над расстилавшимся под ним океаном снежных вершин. Но вот все ближе и ближе становились Безобдальские горы, и 15 сентября перед Давыдовым развернулась картина русского лагеря.

Давыдов принял от Северсамидзе начальство над отрядом. Теперь перед ним была нелегкая задача – изгнание врага, который сравнительно был многочислен и дерзок. За хребтом Безобдальским, в опустошенных землях Бомбака и Шурагели, рыскали толпы полудиких всадников, под общим предводительством Гассан-хана, брата эриванского сардаря. За ними, на горах, лежащих около озера Гокчи, стоял с большими силами сам сардарь, только присутствием Ермолова на Гассан-Су удержанных от наступления в тыл Паскевичу, – отозвавший свои конные полки, когда они уже были на елизаветпольской большой дороге.

К счастью, среди персиян уже начиналась деморализация, вызванная слухами о елизаветпольском погроме. Враг переставал быть страшен. Его аванпосты стояли еще на высотах Безобдала, но уже чувствовалось, что при первом движении русских вперед персиане не будут защищаться и побегут. Давыдов через два дня назначил поход. Предстояли наступательные действия, и на первый раз решено

было занять Мирак как пункт, от которого началось отступление русских. К вечеру 18 сентября все распоряжения к походу были окончены, и в лагере настало молчаливо-тревожное затишье, полное дум о завтрашнем дне, который для многих мог стать последним днем жизни. Вот заиграли вечернюю зорю; застучал барабан на молитву, резкой нотой отозвалась ему казачья труба за высоким холмом, где стояли донские шатры, и, благоговейно перекрестясь на звездное небо, солдаты в последний раз улеглись в своих походных палатках. Наступила темная южная ночь.

На утро все встрепенулось, все двинулось вперед. Неприятельские аванпосты тотчас же исчезли с высот Безобдала, и русские войска поднялись на снеговой хребет и спустились с него в Бомбакскую долину без выстрела. Неприятель и там повсюду отступал, зажигая траву и оставляя за собой черные, покрытые горячим пеплом поля. 20 сентября, под Амамлами, донцы и грузины настигли куртинскую партию – и произошла горячая кавалерийская сшибка. Еще день – и Давыдов, 21 сентября, в виду заоблачного Алагеза, увидел четырехтысячный отряд самого Гассан-хана, стоявший на крутой каменной возвышенности. Крепкая позиция его упиралась правым флангом в Миракский овраг, левым – в отроги Алагеза. Русские повели нападение. Бой начал полковник Муравьев. Он оттеснил персидскую конницу и, поставив орудия на высотах левого берега Баш-Абарани, принялся громить правый неприятельский фланг; а в это время рота карабинеров, с майором Кошутиным во главе, взбиралась по крутизнам Алагеза и уже заходила в тыл персиянам. Неприятель дрогнул и бросился в лошину речки Мирак, ища спасения в бегстве... Сам Гассан-хан с остатком своей конницы укрылся в оврагах Алагеза.

Миракское дело, незначительное в чисто военном отношении, было тем не менее весьма важно по своему мо-

ральному влиянию на персиян, что не замедлило сказаться в последствиях. Нравственная сила врага была сломлена сразу, и сам сардарь, со всеми своими войсками, поспешно отступил к Эривани. В бессильной злобе он постарался выместить свои неудачи на бедном армянском населении, и даже хотел предать огню знаменитый Эчмиадзинский монастырь; но он был удержан от этого безумного намерения самими же татарами. «Сардарь, – сказал ему один из старейших беков, – русские два раза были в Эриванском ханстве, два раза терпели поражение, но, уходя назад, никогда не оскорбляли магометанской святыни. Не делай и ты этого с христианским храмом. Вспомни: благословение монахов осватило меч непобедимого шах-заде, и этим мечом он поразил турецкие полчища...» Монастырь уцелел.

Давыдов между тем быстро шел вперед. 22 сентября, на другой день после миракского столкновения, русские войска уже вступили в пределы Эриванского ханства. Но многолюдная страна встретила их неприветливой тишиной, как будто бы это была мертвая пустыня. Окрестные деревни были пусты: татарское население, объятые страхом, бежало, увлекая за собой и несчастных армян. Давыдов подверг опустошению семь вражеских селений, встретившихся ему на пути, – и остановился только в двух небольших переходах от Эривани.

Для персиян это время было временем перехода от торжества и упоения июльскими победами к полному унынию; на их земле стоял малочисленный, но сильный одушевлением русский отряд, – и персияне боялись мщения за свое вероломство, предательское вторжение. Сам сардарь заперся в Эривань и даже крепостные ворота приказал засыпать землей и камнями.

С минуты на минуту ожидали в Эривани появления Давыдова. Но пора наступательной войны еще не настала для русских. Внести войну в пределы персидского госу-

дарства Ермолов считал рановременным. Предстояла зима, которая прекращала в горной стране удобные сообщения и создавала полную невозможность обеспечить действующие войска продовольствием; обширный район прикаспийских ханств не был еще усмирен и мог получить гибельное значение в случае малейшей неудачи, если не от персидских полчищ, то от губительных зимой местных климатических условий. Война по плану Ермолова отлагалась до наступления весны и появления подножного корма. И вот курьер привез Давыдову приказание отступить и возвратиться в Джалал-Оглы.

«Рад сердечно успехам твоим, – писал ему Ермолов, – не досаую, что залетел ты слишком далеко. Напротив, доволен тем, что ты сумел воспользоваться обстоятельствами, ничего не делая наудачу. Похваляю весьма скромность твою в донесениях, которые не омрачены наглой хвастливостью, и сужу об успехах твоих действий по месту, из которого ты пишешь. Имей терпение, не ропщи на бездействие, которое я налагаю на тебя; оно по общей связи дел необходимо».

23 сентября Давыдов возвратился на Лорийскую степь и принялся за постройку в Джалал-Оглы небольшого укрепления, которое должно было сторожить снеговой Безобдал. Между тем наступила глубокая осень, выпавшие снега в горах сделали Безобдал неприступным для персидских шаек, – и отряд Давыдова был распущен. Сам он возвратился в Тифлис, в главную квартиру. А когда, весной 1827 года, наступило вновь время военных действий, Ермолов не был уже кавказским главнокомандующим. Вместе с ним сошел со сцены персидской войны и Давыдов, успевший оставить на ней лишь мгновенный, но молниеносный след.

* * *

Давыдов – пламенный боец!
Он вихрем в бой кровавый,
Он в мире счастливый певец
Вина, любви и славы...

В. А. Жуковский «Певец во стане русских воинов»

Как ни известны жизнь и деятельность знаменитого партизана Давыдова, и как, с другой стороны, ни мимолетно его участие в персидской войне, тем не менее здесь, на рубеже вновь вспыхнувшей ярким пламенем его победной звезды, не лишнее остановить внимание читателя на славном прошлом и на последних днях этого воина-поэта, русское сердце которого всегда билось в один такт с лучшими сердцами его времени.

Когда он, влекомый вечной жаждой подвига, явился на Кавказ, за его стареющими плечами стояла уже длинная не годами, а испытаниями жизнь, и за его именем следовала целая эпопея подвигов, значение которых приближалось к легендарному.

Человек русский, выразивший в лице своем отличительные качества истинного русского воина, Давыдов в рядах армии всегда пользовался необыкновенной популярностью, – был родной ей, чего недоставало многим вождям, не умевшим затронуть русской струны в сердце солдата. И обстоятельства жизни сложились исключительно благоприятно для развития в нем чисто народного воинственного духа. Детство, проведенное под солдатской палаткой, среди Полтавского легкоконного полка, которым командовал его отец, один из героев рымникской битвы, поэзия кочевого военного быта, наконец, встреча с великим Суворовым, мастерски впоследствии описанная самим Давыдовым, имели неотразимое влияние на весь умственный склад ребенка, одаренного пламенным воображением. В душе его вспыхнула искра любви к военным подвигам, и угасла она в нем только вместе с жизнью.

Давыдов начал службу в 1801 году, в кавалергардах. Беззаботная столичная жизнь, быть может, затянула бы другого в тину посредственности, но Давыдову довольно было случайного замечания, чтобы он серьезно взглянул на свое призвание. «Брат Денис, – сказал ему однажды Каховский*, человек большого ума и обширного образования*, – что за солдат, который не надеется быть фельд-маршалом, а ты не знаешь даже того, что нужно знать штаб-офицеру». Самолюбие юноши было сильно затронуто. С жаром принялся он за книги и скоро стал одним из образованнейших по тому времени офицеров – знатоком русской военной истории. В то же время сказались в нем и первые проблески поэтического таланта. Часто, на солдатских нарах, во время его дежурства, в читальне, на полу кавалерийского стойла, он писал сатиры и эпиграммы, которыми начал свое литературное поприще. Через два года он уже был поручиком кавалергардов. «Но судьба, управляющая людьми, или люди, направляющие ее удары», как выражается сам Давыдов, принудили его в 1804 году перейти из гвардии в Белорусский гусарский полк, расположенный в Киевской губернии, в окрестностях Звенигородки. Это было «бешеное» время его жизни. Поэт в душе, он вдохновлялся всем, что выходило из общего уровня жизни; он пел буйный разгул Бурцева с той же душевной страстностью, как воспевал красоту женщины, природу – все, что поражало его воображение. Никто лучше его не опоэтизировал тогдашнюю гусарскую жизнь с ее добрыми товарищескими отношениями, беззаботной удалью, ухарскими проказами, лихими наездами... И стихи Давыдова выгучивались наизусть, расходились в тысячах рукописных экземплярах, распевались повсюду. Справедливо сказал Языков:

* Каховский был брат А. П. Ермолова (от одной матери). Мать же Ермолова и Каховского была родной теткой Дениса Давыдова.

Не умрет твой стих могучий.
Достопамятно живой,
Упоительный, кипучий,
И воинственно летучий,
И разгульно удалой...

Но перевод в Белорусский гусарский полк был вместе с тем первой злой насмешкой судьбы над Давыдовым: он помешал ему участвовать с кавалергардами в знаменитом Аустерлицком сражении, и когда, через два года, Давыдов переведен был обратно в гвардию, в гусары, положение его среди товарищей сделалось истинно нестерпимым. «В полку, – говорит Давыдов, – мы жили ладно; у нас было более дружбы, чем службы, более рассказов, чем дела, более золота на шашках, чем в ташках, более шампанского, чем печали... Всегда веселы и всегда навеселе!.. Но мне было двадцать два года от роду; я кипел честолюбием, уставал от бездействия, чах от избытка жизни... Оставив гвардию, еще не слышавшую боевого выстрела, я провел два года в полку, который не был в деле, и поступил обратно в ту же гвардию, которая пришла из-под Аустерлица. От меня пахло молоком, от нее несло порохом, я говорил о рвении моем – мне показывали раны, всегда для меня завидные, или ордена, меня льстившие. И не раз вздох ропота на судьбу мою заструивал чашу радости...»

Судьба, однако же, продолжала смеяться над ним. Новая война, – и Белорусский полк, из которого Давыдов только что вышел, отправился в поход, в Пруссию, а гвардия, куда он поступил, – осталась на этот раз на месте. Все хлопоты попасть в действующую армию были безуспешны. «Вы знаете, – говорили ему, – что государь не любит волонтеров».

«Я принимал за клевету такое святотатственное слово насчет государя, – говорит Давыдов, – почитая за сверхес-

тественное дело, чтобы русский царь не любил тех, кои рвутся вперед...»

И он, «закусив поводя», как выражается сам, бросался на каждую стезю, которая, как казалось ему, могла привести его к цели. Наконец хлопоты его увенчались успехом, – он был назначен адъютантом к князю Багратиону.

Первое сражение, в котором участвовал Давыдов, было Вольфсдорфское. Здесь он окурился порохом, и здесь же впервые ему пришлось обнажить свою гусарскую саблю. «Благородный пар крови курился и на ее лезвии», – говорит Давыдов, описывая свои первые боевые впечатления. Отгремела Прейсиш-Эйлауская битва, не имеющая в позднейшей истории равной себе по кровопролитию, кроме Бородинского побоища, которое, впрочем, едва-едва превышало ее потерями сражавшихся. «Черт знает, – говорит Давыдов, описывая, спустя много лет после того, это сражение, – какие тучи ядер пролетали, гудели, сыпались, прыгали вокруг земли, рыли по всем направлениям сомкнутые громады войск наших, какие тучи гранат лопались под ногами моими. То был широкий ураган смерти, ломивший все вдребезги, стиривший с лица земли все, что ни попадало под его сокрушительное дыхание...» Русские потеряли до тридцати семи тысяч убитыми и ранеными. «Подобному урону, – замечает Давыдов, – не было примера в военных летописях со времен изобретения пороха».

Едва смолкли громы, оглашавшие поля Восточной Пруссии, как загорелась война в Финляндии, и Давыдов отправился туда вместе с Багратионом. «Там пахло еще жженым порохом, – говорит он, – там было и мое место!» В Северной Финляндии он поступил под начальство знаменитого Кульнева, говорившего, бывало, что «матушка Россия тем и хороша, что в каком-нибудь уголке ее да дерутся», – и не отлучался от него уже до самого окончания

кампании. Здесь-то и свел с ним ту задушевную дружбу, которая продолжалась до самого дня блистательной и завидной смерти последнего в 1812 году. Под руководством Кульнева прошел Давыдов курс аванпостной службы, вместе с ним разделял его суровую пищу, спал на соломе под открытым небом и познал всю цену спартанской жизни, необходимой для всякого, кто рвется «нести службу, а не играть со службой». Финляндскую кампанию Давыдов впоследствии считал счастливейшим временем своей жизни. «Я был молод, – говорит он, – упоен военной службой, в непрерывном бою с храбрым неприятелем и под руководством беспримерного авангардного начальника, Кульнева. К этому я был влюблен до поэтического вдохновения, окружен добрыми, славными товарищами, и с каким-то радостным чувством летел на пули бесстрашных стрелков неприятельских, посреди грозной финляндской, природы, в снегу по колено или на раскаленных летним зноем скалах. После жизнь никогда уже не дышала для меня такой поэзией».

Окончилась война в Финляндии, – и Давыдов уже сражается с турками под Гирсовым, Мачином, при Россевате, у Силистрии, в жарком бою под Татарицей, у стен Шумлы, на кровавом приступе Рущука. Он был в это время уже украшен золотым преysiш-эйлауским крестом, золотой саблей за храбрость, носил в петлице владимирский крест, бриллиантовые знаки ордена св. Анны 2-й степени – на шее. Замечательно, однако, что в тот век, когда так быстро создавалась карьера многих военных людей, Давыдов медленно подвигался по лестнице чиновной иерархии и, после трех больших кампаний, все еще оставался только гусарским ротмистром. «Тому причинами были, – говорит его сын, – дух свободы, не терпящий стеснения слова, действия без оглядки, русское удалство, очертя голову – и за все про все ответ своей головой».

Но вот наступил 1812 год, и Давыдов перешел во фронт, в Ахтырский гусарский полк, подполковником. Отступая от Немана, русские армии соединились под Смоленском и продолжали отходить к Бородину. Видя себя во всех арьергардных делах полезным не более простого гусара, Давыдов решил просить отдельную команду, создать партизанов, – и войну войсковую обратить в войну народную. Мысль эта нашла горячее сочувствие в пылкой душе Багратиона, и его же ходатайству она обязана была своим осуществлением. А войска тем временем занимали уже бородинскую позицию. Давыдов близко знал и это село, и окружающие поля: Бородино принадлежало деду и отцу его. Теперь ему приходилось быть свидетелем того, как дом отеческий, с которым он связан был дорогими воспоминаниями детства, одевался дымом бивуаков, и ряды штыков сверкали среди жатвы. «Гам, на пригорке, где некогда я резвился и мечтал, – говорит он, – закладывали теперь редут Раевского. Красивый лесок перед пригорком обращался в засеку и кипел егерями, как некогда стаей гончих собак, с которыми я носился по мхам и болотам. Все переменилось. Завернутый в бурку и с трубкой в зубах, я лежал под кустом леса за Семеновским, не имея угла не только в собственном доме, но и в овинах, занятых начальниками...»

В самом Бородинском сражении Давыдов, однако же, не участвовал. За два дня до него, 24 августа, он с первой русской партизанской командой был брошен в тыл неприятельской армии, – и первые девять дней кочевал и сражался, имея только сто тридцать всадников. «Никогда не забуду тебя, время жестокое! – восклицает Давыдов, говоря об этих днях. – И прежде, и после я был в горячих битвах, проводил ночи стоя, прислонясь к седлу, и руки на поводьях, но не десять дней, не десять ночей кряду, – и

дело шло о жизни, а не о чести». Опасность встречалась на каждом шагу не от одних неприятелей, но и от русских крестьян, не всегда умевших отличать партизанский отряд от французов. В каждом селении ворота были заперты, и их оберегали толпы вооруженных крестьян. К каждому селению должен был подъезжать один из партизанов и говорить, что пришли к ним на защиту и освобождение русские, их земляки и братья. И часто в ответ на эти слова гремел выстрел, или летел пущенный с размаху топор. «Отчего же вы нас принимали за французов?» – спрашивал Давыдов, когда дело объяснялось и улаживалось. «Да, вишь, родимый, – отвечали крестьяне, – это (показывая на его гусарский ментик), бают, на их одежду схожо». «Да разве я не русским языком говорю?» «Да ведь у них всякого сброда люди...»

Тогда Давыдов убедился, что в народной войне надо применяться к народу не только языком, но и наружностью. Он сбросил гусарский ментик, облачился в чекмень, отпустил бороду, вместо анненского ордена повесил на шею образ святого Николая, – и заговорил языком, понятным русскому простолюдину. Множество портретов изображают его в этом наряде, с бородой и с нагайкой в руке. С этой одеждой он не расставался до самого Дрездена. «Да и не до бритья горла было мне, – восклицает сам Давыдов, – когда неприятельская сабля так близко ходила вслед за бритвой...»

Первые действия Давыдова ограничились пространством между Гжатью и Вязьмой. Здесь, проводя ночи без сна, а днем прячась в лесах и вертепах, всегда настороже, всегда в тревогах, – он, поминутным истреблением обозов, транспортов и небольших отрядов, до такой степени тревожил тыл неприятельской армии, что французский губернатор Смоленска, Бараге д'Илье, отправил, наконец,

для истребления его двухтысячный конный отряд; приметы Давыдова были подробно описаны, и приказано было схватить и расстрелять его как разбойника. Но Давыдов счастливо избежал встречи с сильнейшим противником. Между тем французы покинули Москву, началось бедственное отступление их по смоленской дороге, появились новые партизаны – и Давыдов, вместе с Сеславиным, Фигнером и графом Орловым-Денисовым, был уже в состоянии выдержать кровопролитный бой под Ляховым, пытался даже померяться силами со старой наполеоновской гвардией. Вот как описывает он это в своем «Дневнике партизана»:

«3 числа, на рассвете, разъезды наши дали знать, что пехотные неприятельские колонны тянутся между Микулиным и Стеснами. Мы примчались к большой дороге и покрыли нашей ордой все пространство от Аносова до Мерлина. Неприятель остановился, чтобы дожидаться хвоста колонны. Заметив это, граф Орлов-Денисов приказал нам атаковать его. Колонна была смята, и при этом отбито четыре орудия, взято в плен два генерала и до двухсот нижних чинов со множеством обозов. Наконец подошла старая гвардия, посреди которой находился сам Наполеон. Это было уже за полдень. Мы вскочили на коней и снова явились у большой дороги. Неприятель, увидя шумные толпы наши, взял ружье под курок, и гордо продолжал путь, не прибавляя шага. Сколько мы ни покушались отхватить хотя одного рядового от этих сомкнутых колонн, они, как гранитные, пренебрегая всеми усилиями нашими, оставались невредимы. Я никогда не забуду свободную поступь и грозную осанку этих, всеми родами смерти испытанных воинов. Осененные высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, белых ремнях, с красными султанами и ополетами, они казались маковым цветом среди снежного

поля. Я как теперь вижу графа Орлова-Денисова, гарцующего у самой колонны на рыжем коне своем, окруженного моими ахтырскими гусарами и ординарцами лейб-гвардии казачьего полка. Полковники, офицеры, урядники, многие простые казаки устремились на неприятеля, но все было тщетно. Колонны двигались одна за другой, отгоняя нас ружейными выстрелами и издеваясь над нашим вокруг них бесполезным наездничеством...» Тем не менее, в течение этого дня, партизаны взяли еще одного генерала, множество обозов и до семисот пленных; но гвардия с Наполеоном прошла посреди толпы казаков, «как стопушечный корабль между рыбачьими лодками».

После этого дела Давыдов опять отделился со своей партией от остальных партизан и простер свои залетные набег до самого Немана. Под Гродно он напал на четырехтысячный отряд венгерских гусар. «За стуком сабель, – говорит он, – застучали стаканы, – и город наш!»

Партизанские подвиги доставили Давыдову чин полковника, георгиевский крест и орден св. Владимира 3-й степени. «Меня уверяли, – прибавляет Давыдов, – что если бы я сказал тогда хотя два слова о Георгии 3-го класса, то, без сомнения, получил бы его весьма легко; но я был слишком высокого мнения об этом ордене, и притом слишком убежден, что далеко его не заслужил».

Так окончился 1812 год, в котором Давыдов, как выражается сам, – «зарубил и свое недостойное имя». Языков сказал про него:

Много в этот год кровавый,
В эту смертную борьбу,
У врагов ты отнял славы, –
Ты, боец чернокудрявый,
С белым локоном во лбу...

Сам Давыдов никогда не забывал этой кипучей, полной поэзии поры своей жизни: «Кочевье на соломе, под крышей

неба!.. Вседневная встреча со смертью, неутомная жизнь партизанская! – Вспоминаю о вас с любовью и теперь, когда в кругу семьи своей пользуюсь полным спокойствием, наслаждаюсь всеми удовольствиями жизни... Но отчего по временам я тоскую о той эпохе, когда голова кипела отважными замыслами, и грудь, полная надежд, трепетала честолюбием изящным и поэтическим...»

С переходом в Германию, Давыдов со своей партией шел впереди корпуса генерал-адъютанта Винценгероде. Но в сущности это был уже не партизанский отряд, а один из тех авангардов, которые предшествуют движению передового корпуса. Крутой поворот от вольных перелетов к размеренным переходам по маршрутам, запрет сражаться с неприятелем без особого разрешения – были не по душе Давыдову. Кипучая молодость, удалая и своевольная, и, главное, соблазнительная близость неприятеля вызвали его на тот последний смелый наезд, от которого пострадала вся его заграничная служба. С горстью казаков он взял столицу Саксонии, Дрезден, – и через сутки был отрешен за это от командования и послан в главную квартиру для предания суду.

Чтобы понять это обстоятельство, нужно знать, при каких условиях совершено Давыдовым это дерзкое покорение Дрездена. Бурное военное время создало в эту эпоху целые толпы искателей известности. «В союзных армиях – рассказывает Давыдов, – все только и мечтали о столицах, торжественных въездах, о повержении ключей их к стопам императора. На мою беду подручных столиц в то время было только две, из коих Берлин захватил уже Чернышев, а Дрезден оставался еще на удалого. И Блюхер, и Винценгероде двинулись к этому доброму Дрездену с целыми армиями, не постигая, что слава подвига оценивается большим или меньшим количеством средств, употребленных на пред-

приятие, и что взятие Берлина целой армией не составило бы никакого подвига, тогда как взятие того же Берлина легким отрядом Чернышева справедливо его прославило. Вот почему Блюхер, – тогда еще без ореола Кацбаха, Бриена и Ватерлоо, желая захватить Дрезден, направил Винценгероде в противную сторону, а Винценгероде, имея ту же самую мысль, действовал подобным же образом относительно меня и Ланского, желая, так сказать, украдкой достигнуть соблазнительного предмета. Я не понимал тогда этой особого рода политики, не мог предвидеть, чтобы взаимные тонкости моих начальников остались тщетными, и что мне было определено судьбой, поддев их обоих, сломить себе шею. И вот этот добрый Дрезден является подводным камнем, о который ударилось в беззаботном и отважном полете своем на всех парусах мое корсарское судно».

Дело в том, что 8 марта Давыдов с тремя казачьими полками, в которых было не более пятисот наездников, явился под стенами Дрездена, разложил огромные костры, чтобы ввести неприятеля в заблуждение, и послал требовать сдачи города. После длинных переговоров, французский генерал Дюрют с пятитысячным отрядом согласился, наконец, очистить весь новый Дрезден и отступить за Эльбу. Условия были подписаны и 10 марта, задолго еще до рассвета, Давыдов велел своей партии готовиться к парадному вступлению в город. «Надо было блеснуть, чем Бог послал, – говорит он, – и мы сами нарядились в самые новые одежды. Я тогда носил курчавую, черную, как крыло ворона, окладистую бороду; одежда моя состояла из черного чекменя, красных шаровар и красной шапки с черным околышем, я имел на себе черкесскую шашку и ордена: на шее Владимира, Анну, алмазами украшенную, и прусский “За достоинство”, в петлице – Георгия. В полдень партия села на коней и вошла в ворота укрепления.

Тут стоял французский караул, который отдал честь при барабанном бое...» Исключить из договора эту статью Давыдов ни за что не соглашался, желая сделать жителей Дрездена очевидными свидетелями унижения французов перед русскими.

Поблагодарив гарнизон легким приподнятием шапки, Давыдов, окруженный своими офицерами и конвоем ахтырских гусар, въехал в Дрезден; за ним потянулись казачьи полки, «и песенники, ехавшие впереди Бугского полка, залились:

Растоскуйся, моя сударушка...

Погода была прелестная, число любопытных было невероятное, и на улицах не было свободного места, во всех окнах торчали головы: самые крыши были усеяны народом; иные махали платками, другие бросали шляпы в воздух; и все кричало, ревело и вопило: “Ура, Александр! Ура, Россия!” И в этом многогласном хоре, прославлявшем два столь огромные имени, и мое недостойное имя извигалось, подобно звуку флейточки среди оглушительного гула труб и литавр».

11 числа, ночью, неприятель стал отступать из Старого города. Судьба, улыбаясь, казалось, призывала Давыдова овладеть и последней половиной Саксонии, – как вдруг, на рассвете 13 числа, явился сам Винценгероде, бросивший корпус и прискакавший на почтовых из Бауцена. Он обвинил Давыдова в том, что тот самовольно подошел под Дрезден и осмелился заключить конвенцию, тогда как существовал приказ, строго запрещающий входить с неприятелем в какие бы то ни было условия и договоры. Последнее Винценгероде называл государственным преступлением и заключил свою речь словами: «Я не могу избавить вас от суда. Немедленно сдайте вашу команду и отправляйтесь в главную квартиру».

Каждому, кто был отрываем от своей любимой военной семьи, будут понятны чувства, взволновавшие тогда Давыдова. «От Бородинского сражения до вступления в Дрезден, – говорит он, – я сочетал свою судьбу с судьбой своей партии, мое существование с ее существованием. Я расставался уже не с подчиненными; я оставлял в каждом гусаре – сына, в каждом казаке – друга. О, как черствый сухарь на бивуаке, запах жженого пороха и кровавая купель сближают людей между собой! При расставании со мной пятьсот человек рыдало... Я сел в почтовую коляску и выехал в те самые ворота Нового города, в которые за два дня перед тем так радостно и с торжеством входил во главе своей партии...»

Через несколько дней по прибытии его в главную квартиру, в Калиш, в соборе служили благодарственное молебствие, сопровождаемое пушечными выстрелами, за взятие Дрездена. «А я, – говорит Давыдов, – слушал их, скитаясь по улицам города». Но справедливость царя-покровителя, как выражается он, была щитом беспокровного. «Как бы там ни было, – сказал Государь по выслушивании дела, – а победителя не судят», – фельдмаршал приказал немедленно возвратить Давыдову ту самую партию, которой он командовал. Но партия была уже распущена, и Давыдов остался при армии без должности, как корсар, потерявший корабль свой. Позже он был назначен командиром Ахтырского гусарского полка, с которым и кончил кампанию 1814 года.

Замечательно, что Давыдов, герой Отечественной войны, герой Дрездена, деятельный участник битв под Лейпцигом, под Ларотьером и Краоном, за весь заграничный поход не получил ни одной награды. С ним вышел даже беспримерный случай, которого, можно сказать, ни с кем никогда не бывало: за сражение под Ларотьером, 20 января

1814 года, он был произведен в генерал-майоры, а спустя некоторое время ему было объявлено, что производство его состоялось по ошибке, – и Давыдов должен был снова надеть полковничьи эполеты. Генеральский чин возвращен был ему только 21 декабря 1815 года.

Войны окончились. Давыдов уехал в бессрочный отпуск, женился и в 1823 году окончательно вышел в отставку. К этому времени относятся его капитальные труды: «Опыт теории партизанских действий» и «Партизанский Дневник», – сохранившие за собой большое значение в военной литературе и до настоящего времени.

Его стихотворения того времени отмечены талантом сильным и оригинальным. Но Давыдов не сделался записным литератором и не видел в этом настоящего своего признания.

Я не поэт, я партизан-казак, сказал он сам про себя в известном стихотворении:

Я иногда бывал на Пинде, но наскоком,
И беззаботно, кое-как,
Раскидывал перед Кастальским током
Свой независимый бивак.
Нет, не наезднику пристало
Петь, в креслах развалясь, лень, негу и покой...
Пусть грянет Русь военною грозой –
Я в этой песне – запевало.

Но войны не было. Ермолов два раза просил о назначении Давыдова командующим войсками на Кавказской линии, – и ему дважды отказали. «Сперва, – говорит Давыдов, – мне предпочли Лисаневича, а потом Горчакова». Между тем все, знавшие Давыдова, говорят, что это был немаловажный промах. На Кавказской линии был нужен человек решительный и умный, не только исполнитель чужих предначертаний, но сам творец своего поведения,

недремлющий наблюдатель всего, что угрожало порядку и спокойствию от устьев Лабы до Андреевской. «Давыдов, – писал Грибоедов своему другу Бегичеву, – во многом исправил бы здесь ошибки самого Алексея Петровича. Эта краска рыцарства, которой судьба оттенила характер нашего приятеля, привязала бы к нему кабардинцев, – а это именно и было то, чем мы никогда не умели воспользоваться...»

С восшествием на престол императора Николая, Давыдов снова поступил на службу, и с берегов Москвы судьба переносит его на отдаленную границу с Персией, на ту единственную пограничную черту России, где земля не звучала еще под копытами его коня. Его назначение в Грузию состоялось при довольно исключительных обстоятельствах. Вот как рассказывает он об этом сам.

Зачисленный по кавалерии и живя с семейством, то в Москве, то в своем подмосковном имении, он ожидал коронации, ни мало не думая о действительной службе, то есть о службе во фронте или на войне. «К первой я совершенно неспособен и признан таковым высшим начальством, – говорит он, – а о войне не было и слуху». Но 9 августа, приехав во дворец, чтобы представиться государю, прибывшему тогда в Москву для коронации, он заметил, как Дибич беспокойно переходил от одного генерала к другому и делал распоряжение о немедленном возвращении в Грузию тех, которые принадлежали к отдельному Кавказскому корпусу. Ничего не зная о вторжении персиян, Давыдов полагал, что черкесы сделали один из тех набегов на Кубань, которые случались и прежде, – а многочисленные и сильные недоброжелатели Ермолова, старались, вероятно, придать этому простому обстоятельству какое-нибудь особенное значение. Но вот в залу вошел государь и, подойдя к Давыдову, сказал, что рад его видеть, благода-

рил за то, что он снова надел эполеты в его царствование, и, наконец, спросил: может ли он служить в действительной службе? Давыдов отвечал: «Могу, государь», – и император, милостиво улыбаясь, пошел далее.

На следующий день, на разводе, генерал Бутурлин отвел Давыдова в сторону и сказал: «Знаете ли, что я сейчас говорил о вас с Дибичем? Он спрашивал, согласитесь ли вы ехать в Грузию, где теперь война и куда государь хочет послать вас?» – «Что же ты сказал?» – «Я не знал вашего намерения и, желая дать вам средства отказаться, буде вы не захотите принять такого предложения, сказал, что вряд ли вы согласитесь, имея большую семью и расстроенное имение. Теперь ваше дело, решиться ехать в Грузию или нет».

Пока Бутурлин говорил, Давыдов уже решил – и решил ехать. «Слово война, – говорит он, – по сю пору имеет для души моей звук магический, да и выбор меня первого на путь опасности и чести не мог не льстить моему самолюбию, столь мало избалованному в течение всей моей двадцатисемилетней службы». 11 августа Давыдов явился к Дибичу. «Государю угодно, чтобы вы ехали в Грузию, – сказал ему Дибич, – там война, ему нужны отличные офицеры; он избирает вас, но прежде желает знать – согласитесь ли вы на это назначение?» – «Прошу вас, доложите его величеству, – ответил Давыдов, – что я не колеблюсь ни минуты, и что благодарное сердце мое никогда не забудет этого знака его внимания ко мне».

Так решено было назначение Давыдова. На следующий день, 12 августа, он уже откланивался государю. Император принял его в своем кабинете. «Прости меня, Давыдов, – сказал он, – что я посылаю тебя туда, где, может статься, тебе быть не хочется». «Я пришел благодарить ваше величество, – отвечал Давыдов, – за выбор столь лестный для

моего самолюбия. Я так мало избалован, государь, судьбой в течение моей службы, что от милостивого вашего воззрения я вне себя от восторга и счастья. Сделайте милость, государь, коль скоро предстанет прямая, честная, опасная дорога, не спрашивайте, хочу я или нет избирать ее. Бросайте меня прямо на нее; верьте, что я это сочту за особое благодеяние. А теперь, – добавил он – позвольте мне, ваше величество, изложить мою просьбу». – «Что такое?» – «Когда война кончится, позвольте, не спросясь ни у кого, возвратиться в Москву – я здесь оставляю хвост, жену и детей». – «Я тебя не определяю в Кавказский корпус, – сказал государь, – а посылаю туда для войны с оставлением по кавалерии; следовательно, ты к этому корпусу не принадлежишь. Когда война кончится, скажи Алексею Петровичу, что я желаю твоего возвращения, он тебя отпустит, и дело кончено».

Потом, остановившись у бюро и рассказав Давыдову с очевидным неудовольствием о вторжении персиян, о взятии у нас двух орудий и гибели нескольких рот, государь передал словесно некоторые приказания к Ермолову, обнял Давыдова и заключил свидание следующими словами: «Ну, прощай, любезный Давыдов, желаю тебе счастья, и первое известие о тебе иметь вместе с твоими успехами».

Довольный, полный надежд и желаний, Давыдов через три дня уже скакал на Кавказ. Но, как мы выше видели, надеждам его исполниться было не суждено. Вся роль его в персидской войне ограничилась незначительным мираским делом и набегом на Эриванское ханство, которому со стороны персиян не было противопоставлено никакого сопротивления. С падением же Ермолова Давыдов обречен был на полное бездействие.

«Родство мое с Алексеем Петровичем, сошедшим так рано со служебного поприща, – писал он в одном из своих

частных писем, – поставило меня в затруднительные отношения с Паскевичем и с новыми лицами. Я, впрочем, перенес бы стоически все неприятности, если бы получил какую-нибудь команду, ибо был прислан самим государем на действительную службу, а от Паскевича получил приказание сопровождать без службы главную квартиру вместе с маркитантами, тогда как генерал Панкратьев, младший меня в чине, никогда не бывший военным человеком и давно уже просившийся в обер-полицеймейстеры, получил блистательное назначение и команду, состоящую из шести тысяч человек. Я бы, может быть, победил в себе чувство оскорбленного самолюбия, если бы сам просился в Кавказский корпус; но это дело было уже не мое, а моего государя – и потому я решил выбыть из корпуса».

Зимой Давыдов ездил в Москву повидаться с семейством; весной он возвратился на Кавказ, но, не получив никакого назначения в действующем корпусе, остался в Пятигорске на минеральных водах и провел там все лето 1827 года, прислушиваясь к отдаленному грому русских побед. Тогда-то, в грустном уединении, он написал свое известное стихотворение:

Нет, братцы, нет! Полусолдат
Тот, у кого есть печь с лежанкой,
Жена, полдюжины ребят,
Да щи, да чарка с запеканкой.
Аракс шумит. Аракс шумит,
Араксу вторит ключ нагорный,
А Алагез, нахмураясь, спит,
И тонет в влаге дол узорный;
И веет с пурпурных садов
Зефир восточным ароматом,
И сквозь серебристых облаков
Луна плывет над Араратом.

Но воин наш не упоен
Ночною роскошью полуденного края,
С Кавказа глаз не сводит он,
Где подпирает небосклон
Казбека гряда снеговая...

На нем знакомый вихрь, на нем громада льда,
И над челом его, в тумане мутном,
Как Русь святая недоступном,
Горит родимая звезда.

Величаяя природа Кавказских гор, роскошные долины Иверии, библейский Арарат, в виду которого, как буря, пронесся он со своим летучим отрядом, неизгладимо запечатлелись в его чуткой душе и отразились в звучных стихотворениях его. Персидская война, по своей кратковременности, конечно, ничего не прибавила к славе знаменитого поэта-партизана, но она связала имя Давыдова с Кавказом, куда так долго и так напрасно стремились его желания и думы.

Возвратившись с Кавказа, Давыдов поселился в своей приволжской деревне. И вновь потекли для него дни томительного бездействия, тем более отзывавшегося на нем, что вслед за персидской войной возникла турецкая, а он лишен был участия в них. Душевное состояние его сказывается в его стихотворениях, относящихся к этой эпохе.

«Давно ль под мечами, в пыли батарей», – говорит он в одном из них.

И я попирал дол кровавый,
И я в сонме храбрых, у шумных огней,
Наш стан оглашал песнью славы?
Давно ль?.. Но забвеньем судьба меня губит,
И лира немеет, и сабля не рубит...

Мятеж, вспыхнувший в Польше, вызвал его, однако же, еще раз на ратное поле. 12 марта 1831 года он прибыл в главную квартиру русской армии и тронут был до глубины

души приемом, который ему сделали. Знакомые и незнакомые, старые и молодые, офицеры и солдаты – все приветствовали его с нескрываемой радостью. Через десять дней он был уже в Красностае, где кочевал порученный ему отряд – Финляндский драгунский полк и три полка казаков. С этим летучим отрядом он берет приступом город Владимир-Волынский и усмиряет этим мятеж, охвативший Волынь и Подолию. Затем он командует передовыми отрядами в корпусе Ридигера, сначала в окрестностях Люблина, потом за Вислой, между Варшавой и Краковом.

За приступ Владимира Дибич представил Давыдова к ордену св. Георгия 3-го класса; но этой награды он получить не удостоился. Чин генерал-лейтенанта, Анненская лента и Владимир 2-го класса – вот последние боевые награды его. Окончилась война, и Давыдов снова в Москве, на родине, в кругу своего семейства, снова за литературным трудом.

В это время он ведет обширную переписку с Вальтером Скоттом и обменивается с ним подарками. Английский романист прислал ему свой портрет; Давыдов, не считая приличным отплатить тем же, отправил ему куртинскую пику и персидский кинжал, отбитые им вблизи Эривани, и черкесский лук с колчаном, наполненным стрелами, который ему удалось добыть проездом через Кавказскую линию. Но Вальтер Скотт сам приобрел гравированный портрет русского партизана, – «черного капитана», как звали его в Англии. «Портрет этот, – писал Давыдову Вальтер Скотт, – висит в моем кабинете оружия, над предметом весьма для меня драгоценным: это меч, завещанный мне предками, который в свое время не оставался в праздности, хотя три последние миролюбивые поколения нашего племени и вели жизнь спокойную».

Пушкин, Жуковский, Языков, Вяземский и многие представители русской литературы находились с Давыдовым в

дружеской переписке. Посылая ему историю Пугачевского бунта, Пушкин писал ему между прочим:

Тебе певцу, тебе герою!
 Не удалось мне за тобою,
 При громе пушечном, в огне,
 Скакать на бешеном коне.
 Наездник смирного пегаса,
 Носил я старого Парнаса,
 Из моды вышедший мундир ...
 Но и на этой службе трудной,
 И тут, о, мой наездник чудный,
 Ты мой отец и командир.
 Вот мой Пугач: при первом взгляде
 Он виден: плут, казак прямой;
 В передовом твоём отряде
 Урядник был бы он лихой!

Наступил 1839 год. Россия готовилась к торжественному открытию Бородинского памятника. Давыдов не остался равнодушным к этим приготовлениям. Он подал государю записку, в которой убедительно просил перенести тело славного князя Багратиона, покоившегося в селе Сима, Владимирской губернии, – или на Бородинское поле, или в Александро-Невскую лавру, где лежит Суворов. «В первом случае, – писал Давыдов, – великая жертва сочеталась бы с великим событием; во втором – знаменитый питомец лег бы возле великого своего наставника». Император Николай вполне оценил эту мысль и приказал перенести прах Багратиона на берега Колочи, на то место, где герою суждено было в последний раз померяться с врагами России. На Давыдова возложено было сопровождать гроб князя на Бородинское поле. Но Провидение не судило ему, однако, дожить до этой торжественной минуты. За несколько месяцев до открытия памятника, 22 апреля 1839 года, он

неожиданно скончался в своем имении в Верхней Мазе, Сызранского уезда, Симбирской губернии.

Торжество на Бородинском поле происходило без него.

Так без тебя торжествовала
Россия день Бородина,
И в час молебствия, когда
Своих защитников считала, —
«Еще одним их меньше стало»,
Сказала с грустью она.

Так писала о нем графиня Ростопчина. Жуковский также посвятил ему строфы в своей известной «Бородинской годовщине»:

И боец, сын Аполлонов,
Мнил он гроб Багратионов
Проводить в Бородино...
Той награды не дано:
В миг Давыдова не стало!
Сколько славных с ним пропало
Боевых преданий нам!
Как в нем друга жаль друзьям!

Давыдов представлял собой необыкновенный пример служения отечеству вполне бескорыстного. «Мир — и о Давыдове нет слуха; но повеет войной — и он уже тут, торчит среди битв, как казацкая пика». И в этих немногих словах вся характеристика Давыдова.

ПОСОЛЬСТВО И СМЕРТЬ ГРИБОЕДОВА

Туркменчайский трактат положил конец неприязненным отношениям между Россией и Персией, и император Николай, в возобновление дружеских сношений, учредил пост полномочного министра при персидском дворе. На этот высокий пост получил назначение Грибоедов. Славный во всем великом отечестве нашем как творец «Горя от ума», Александр Сергеевич Грибоедов мало известен в качестве дипломатического деятеля на Кавказе. Между тем он, пробывший свои лучшие годы в Персии и на Кавказе в одну из самых героических эпох тамошнего русского владычества, принимавший, наконец, весьма близкое участие в заключении Туркменчайского мира, представляет собой одного из весьма замечательных кавказских деятелей на дипломатическом поприще, на подготовку к которому он отдал лучшие свои годы.

Грибоедов родился в Москве, 4 января 1795 года, в обстановке богатого помещичьего быта, и получил солидное юридическое образование в московском университете. Но тогдашнее поприще юриста не манило его. Был к тому же роковой двенадцатый год, самый разгар борьбы с Наполеоном, когда все молодое поколение стремилось стать под знамена отечества; Грибоедов не мог оставаться равнодушным зрителем грозных событий и последовал общему примеру, поступил корнетом в Иркутский гусарский полк. Полк этот назначен был, однако же, в кавалерийские

резервы, – и Грибоедову не удалось участвовать в кровавых битвах наполеоновской эпохи. Вместо победных полей он очутился среди невылазной грязи литовских еврейских местечек. Гусарская жизнь, проходившая тогда среди нескончаемых кутежей, попок, карт и обожания женщин, не могла, конечно, поглотить собой Грибоедова, натуру глубоко и пронизательную. Он слишком ясно видел сокровенные пружины,двигающие жизнью, чтобы отдаться с увлечением пустому существованию. Но пламенная душа его требовала деятельности, ум – пищи, а в томительной тоске и бессодержательности окружавшей его действительности не было исхода молодым силам. И вот он нередко предавался самым крайним проявлениям страстной жажды жизни. То он устраивал оргии, которые надолго нарушали спокойствие мирных обывателей, то появлялся на коне в каком-нибудь танцевальном зале, то прогонял органиста в костеле и, заняв его место, после дивных импровизаций, изумлявших церковь глубиной молитвенного настроения, вдруг начинал играть «казачка» или «комаринскую».

К счастью для Грибоедова, эта пора разгула страстей, разрушительно действовавшая и на его здоровье, скоро прошла. Он познакомился и подружился с С. И. Бегичевым, который обнаружил на него самое благотворное влияние. Случайно сошелся он также с князем Шаховским, известным русским драматургом. Под влиянием этих двух личностей Грибоедов сознал необходимость покончить раз и навсегда со своей беспутной молодостью. Он круто переменил свою жизнь, стал заниматься литературой, вышел в отставку и, поселившись в Петербурге, сблизился с кружком тогдашних литераторов (князем Шаховским, Хмельницким, Жандром и др.). Прекрасно образованный, свободно изъяснявшийся на четырех языках, притом отличный музыкант-импровизатор, Грибоедов стал душой столичных салонов. Но жизнь его и тогда продолжала

время от времени выбиваться из правильной колеи, сказывались следствия пылких страстей, которые и привели его в конце концов к кровавой истории, заставившей долго говорить о себе весь Петербург.

Это была известная в свое время дуэль между Шереметьевым и Завадовским, по поводу знаменитой тогдашней танцовщицы Истоминой. Грибоедов принял в этой дуэли случайное участие, благодаря вмешательству одного из секундантов, а именно Якубовича. По настоянию последнего составила двойная дуэль: Шереметьев должен был стреляться с Завадовским, Якубович с Грибоедовым. Очередь была за первой парой. И когда Шереметьев был убит, Грибоедов и Якубович нашли необходимым отложить свои личные счета до более благоприятного момента.

Тяжелые наказания, ожидавшие всех участников дуэли, были значительно смягчены, благодаря заступничеству старого отца Шереметьева. Завадовский был выслан за границу; Якубович, служивший поручиком в лейб-гвардии уланском полку, переведен тем же чином на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк, а Грибоедов отделался, кажется, одним замечанием. Но ему не легко было примириться с собственной совестью: он беспрестанно видел перед собой тень убитого юноши, так что самое пребывание в Петербурге стало для него невыносимым. В это время поверенный по русским делам в Тавризе, Мазарович, предложил Грибоедову ехать с ним в Персию в качестве секретаря посольства. Грибоедов охотно согласился и 30 августа 1818 года уехал из Петербурга.

В Тифлисе его ждал Якубович. Они стрелялись, и Грибоедов был ранен пулей в ладонь левой руки, от чего у него свело мизинец. Это увечье, спустя одиннадцать лет, помогло отыскать тело Грибоедова, изуродованное до неузнаваемости тегеранской чернью.

Дуэль с Якубовичем была последняя дань, уплаченная Грибоедовым молодости. Жизнь, обставленная серьезными задачами, которую он вел уже и в последние годы в Петербурге, сложилась еще строже в Персии, в «дипломатическом монастыре», как он называл посольство. Здесь его крепкая воля и сильный ум окончательно сложились и получили определенное направление. И если он утратил навсегда веселость и беззаботность юноши, то приобрел взамен их другие, более солидные качества, заставившие его взглянуть серьезнее на свои обязанности к родине. Грибоедов принялся учиться, знакомился с восточными языками, читал персидских поэтов, наблюдал нравы и быт Востока, – и вскоре богатством познаний выдвинулся из ряда дипломатов, успев даже оказать серьезные услуги. Его именно энергии и настойчивости Ермолов был, например, обязан тем, что персияне согласились освободить всех русских пленных, томившихся в неволе еще со времен Цицианова. Грибоедову во время этой благородной миссии ежеминутно грозили опасности со стороны раздраженной фанатичной черни, и он знал это; и тем не менее дело было им начато и энергично доведено до конца. Ермолов назвал эти действия храбрыми, – и они, действительно, были под стать спокойному и холодному мужеству Грибоедова.

Три года, проведенные под знойным небом Ирана, неблагоприятно отозвались на здоровье Грибоедова. Но пребывание его в Тавризе было до некоторой степени ссылкой, – и поэтому только в 1822 году, по ходатайству Ермолова, указывавшего на Грибоедова как на достойного кандидата в директора школы восточных языков, тогда только что еще проектировавшейся, ему разрешили, наконец, вернуться в Грузию. Ермолов назначил его состоять при себе в качестве секретаря по иностранным делам.

В первое свое пребывание в Персии Грибоедов задумал и обессмертившую его имя гениальную комедию «Горе от ума». Вот что рассказывают о том, как она впервые родилась в уме Грибоедова.

Как-то летом, в 1821 году, утомленный зноем, заснул он в садовой беседке. Снилось ему, что он на родине, в кругу друзей – и рассказывает о плане новой, будто бы, написанной им комедии. Тотчас по пробуждении, под свежим впечатлением загадочной грезы, Грибоедов записал сюжет и набросал первые сцены приснившейся ему комедии. Это и был сюжет, легший в основание одного из гениальнейших произведений всей русской литературы.

В Тифлисе Грибоедов написал только первые два действия своей комедии; остальные dokonчены были им позднее, в имении Бегичева, в Тульской губернии, куда он ездил в отпуск, летом 1824 года. Как известно, «Горе от ума», за исключением некоторых отрывков, не было напечатано при жизни Грибоедова, – тогдашние цензурные условия не допустили этого; не была она и поставлена на сцену. Грибоедов, уже мечтавший остаться в Петербурге, чтобы отдаться литературной деятельности, вернулся на Кавказ. Ермолова он застал в Екатериноградской станице, где снаряжалась тогда большая экспедиция против чеченцев; но в это самое время пришло известие о событиях 14 декабря, и вскоре Грибоедов был арестован и препровожден в Петербург. Причиной его ареста, как оказалось, были дружеские отношения его со многими декабристами. Черная туча, нависшая над головой поэта, скоро, однако, рассеялась. Он был освобожден, и государь, пожаловав ему чин надворного советника, отправил его снова в Грузию, под начальство уже Паскевича, который был женат на двоюродной сестре Грибоедова.

Заниматься литературой при новом начальнике оказалось не совсем удобным. Паскевич вел обширную переписку, и

Грибоедов был завален работой. Ему преимущественно и принадлежат все те необыкновенно литературно и умно составленные донесения из канцелярии Паскевича, который, как известно, сам писал по-русски весьма неправильно. Пришлось тогда Грибоедову пожалеть и о Ермолове. «При Алексее Петровиче, – писал он к одному из своих приятелей, – свободного времени было у меня больше, чем нужно, и если я при нем не много наслужил, то вдоволь начитался. Авось теперь, с Божьей помощью, употреблю это в свою пользу».

Весной 1827 года персидская война дала Грибоедову несколько случаев участвовать в военных действиях. Он делал кампанию в свите Паскевича и был во всех важнейших делах того времени, выказывая пыл и горячность бывалого наездника. Гусарская кровь не раз заговаривала в молодом дипломате, и он с каким-то фатализмом приучал себя переносить опасности, назначая себе вперед известное число выстрелов, которые должен был выдержать, развезая спокойно по открытому месту под огнем неприятеля.

Вот что, по свидетельству одного из современников, сам он, год спустя, рассказывал по этому поводу, утверждая, что власть человека над самим собой ограничивается только физической невозможностью, а что во всем другом человек может повелевать собой совершенно: «Говорю это потому, – приводит рассказчик собственные слова Грибоедова, – что многое испытывал над самим собой. Например, в персидскую кампанию, во время одного сражения, мне случилось быть вместе с князем Суворовым. Ядро с неприятельской батареи ударило подле князя, осыпало его землей, – и в первый миг я подумал, что он убит. Это развило во мне такое содрогание, что я задрожал. Князя только контузило, но я чувствовал невольный трепет и не мог прогнать гадкого чувства робости. Это ужасно оскорбило меня самого. Стало быть, я трус в

душе? Мысль нестерпимая для порядочного человека, и я решился, чего бы то ни стоило, вылечиться от робости. Я хотел не дрожать перед ядрами, в виду смерти, и, при первом же случае, стал в таком месте, куда доставали выстрелы с неприятельской батареи. Там сосчитал я назначенное мной самим число выстрелов и потом тихо поворотил лошадь и спокойно отъехал прочь. Знаете ли, что это прогнало мою робость? После я не робел ни от какой военной опасности. Но поддайся чувству страха – оно усилится и утвердится».

Рассказ этот показывает, какой силой воли обладал молодой дипломат и уже знаменитый тогда писатель.

Близкое знакомство Грибоедова с жизнью и людьми Персии давало Паскевичу прямой повод поручать ему сношения с персидским правительством. Так Грибоедов ездил в Чорс для переговоров с Аббасом-Мирзой после Джеванбулакского сражения; так принял он деятельное участие и при составлении условий мирного трактата в Дей-Карагане и Туркменчае.

С вестью о заключении мира и для поздравления государя со славным окончанием войны Паскевич отправил в Петербург Грибоедова. Таким образом, в начале 1828 года ему пришлось опять, уже в последний раз, побывать на родном севере. Друзья его заметили в нем тогда какую-то необычайную сдержанность; он был грустен. Он предчувствовал, что на различных почестях, которыми его осыпали как вестника славного мира, дело не остановится и дипломатическая миссия его на Востоке грозит затянуться надолго, чего ему очень не хотелось. Действительно, государь пожаловал ему чин статского советника, орден св. Анны 2-ой степени, украшенный алмазами, и четыре тысячи червонцев, а вслед затем, 25 апреля 1828 года, именным повелением назначил его на пост полномочного министра при Тегеранском Дворе. Грибоедов сделал завидную

служебную карьеру; но это назначение, которого Грибоедов отнюдь не добивался, только увеличило его грустное настроение. Мрачное предчувствие, видимо, тяготило его душу. Как-то раз Пушкин начал утешать его, Грибоедов ответил: «Вы не знаете этого народа (персиян), увидите, что дело дойдет до ножей». Еще определеннее выразился он А. А. Жандру, сказав: «Не поздравляйте меня с этим назначением: нас там всех перережут. Аллаяр-хан – мой личный враг и никогда не подарит он мне туркменчайского договора».

Перед отъездом из Петербурга Грибоедов хлопотал о постановке на сцену «Горя от ума», уже тогда в тысячах рукописных экземпляров разошедшегося по всей России. Все его старания были, однако, напрасны, и комедия сыграна была в первый раз в Петербурге только 26 января 1831 года, когда Грибоедова уже не было на свете.

Один раз ему удалось, впрочем, видеть свое произведение, исполненное на сцене любителями. Это было зимой в 1827 году, в Эривани, когда, по инициативе генерала Красовского, был устроен офицерский театр в одной из зал дворца персидских сардарей. Здесь-то в первый раз и была сыграна бессмертная русская комедия.

Грибоедов оставил Петербург в первых числах июня 1828 года. Первое же его вступление в святилище гор ознаменовалось уже недобрым предзнаменованием. 3 июля он выехал из Казбека верхом на казачьей лошади, что давало полный простор наслаждаться величественными видами окружающей суровой природы. С ним вместе ехало десять грузин с майором Челяевым, начальником горских народов. Начинало смеркаться, когда вся кавалькада была верстах в пяти от Коби. Вдруг показались скачущие осетины, и один из них, отозвав Челяева в сторону, шепотом сообщил, что недалеко впереди на дорогу выехала разбойничья партия в триста человек, которая и поджидает

их в засаде. Грибоедов, узнав, в чем дело, настаивал на том, чтобы ехать вперед. Челяев, однако, не согласился, – и все вернулись в Коби.

В Тифлисе Грибоедов обвенчался с известной красавицей, тогда еще шестнадцатилетней княжной Ниной Александровной Чавчавадзе, которая своей наружностью, как выражался он сам, напоминала ему его любимую картину Мурильо. Он любил ее, она отвечала ему взаимностью, и эта любовь ярким светом озарила немногие дни, оставленные ему судьбой. Обряд венчания происходил в Сионском соборе 22 августа, а 9 сентября Грибоедов, вместе с женой, выехал в Персию.

За снеговым Безобдалом, в нескольких верстах от селения Амамлы, там, где начинается узкая долина, обставленная невысокими горными кряжами, Грибоедов приказал остановиться. Оставя экипаж и свиту, он медленно свернул к видневшемуся в стороне от дороги полуразвалившемуся памятнику и возвратился оттуда в глубоком раздумье, навевном на него посещением одинокой могилы.

Там, среди невозмутимой тишины захолустья, под памятником, поставленным еще во времена Цицианова, но незадолго перед тем, в 1827 году, разрушенным землетрясением, покоился прах бесстрашного воина. Это была могила Монтрезора, погибшего здесь со всем своим отрядом в кампанию 1804 года. Думал ли тогда Грибоедов, что, спустя очень короткое время, и он, подобно Монтрезору, отдаст свою жизнь, защищая свой пост, достоинство и честь своей отчизны?

Путешествие Грибоедова по Персии намеренно обставлено было, по приказанию Паскевича, пышностью и блеском, шумными народными овациями, официальными встречами и церемониями. Так Грибоедов достиг, наконец, Тавриза.

Здесь ему предстояло разрешить щекотливый вопрос о скорейшем очищении Хойской провинции, все еще занятой тогда русскими войсками в обеспечение уплаты шахом восьмого курура. Дело в том, что Аббас-Мирза, еще в апреле месяце, начал переговоры об очищении Хоя, предлагая тогда же внести триста тысяч туманов, то есть один миллион двести тысяч рублей серебром, а остальные прося рассрочить на семь месяцев без залога. Паскевич не соглашался на это и требовал или уплаты полностью, или обеспечения такими вещами, «сбыт коих не доведет правительство наше до убытков», как он выражался. В этом виде переговоры тянулись до глубокой осени, а деньги между тем персиянами мало-помалу уплачивались. В то время, как Грибоедов приехал в Тавриз, денежные счета были в следующем положении: к 21 ноября уплачено было персиянами один миллион пятьсот двенадцать тысяч рублей, на шестьдесят тысяч в руках русского правительства имелись векселя английского полномочного министра, на четыреста тысяч приняты были от Аббаса-Мирзы в залог его собственные драгоценные камни, шали и жемчуга; остались неуплаченными и необеспеченными только двадцать восемь тысяч, достать которые Аббасу-Мирзе было негде. Грибоедов, для очищения Хойской провинции, потребовал, в обеспечение этих двадцати восьми тысяч, трон Ага Мохаммедхана, в котором одного золота, не считая эмали и художественной работы, по оценке считалось на тридцать шесть тысяч рублей. «Я принимал его всего в двадцати восьми тысячах, – говорит Грибоедов, – чтобы понудить персидское правительство скорее его выкупить, тем более что персияне расставались с ним весьма неохотно, ибо трон сей почитался государственной регалией... Если же при окончательных счетах и окажется какая-нибудь незначущая недоимка, то мы в драгоценных камнях Аббаса-Мирзы имеем полное обеспечение и даже с избытком»...

Паскевич соглашался с Грибоедовым, но только возвращать персиянам трон он уже не хотел, находя, что исторический памятник этот будет хорошим трофеем в московской грановитой палате. И потому он поручал Грибоедову настаивать, чтобы трон оставался совсем в России, в уплату двадцати восьми тысяч, «или даже с некоторой не весьма значительной, – как выражается Паскевич, – надбавкой». За какую именно сумму он был уступлен персиянам – сведений нет, но дело уладилось; трон поступил в число трофеев персидской войны и был доставлен в Аббас-Абад, а русские войска получили приказание выйти из Хойской провинции.

Неотложные дела в Тавризе этим были покончены, и Грибоедов должен был отправиться в Тегеран, чтобы представиться шаху. Оставив в Тавризе жену, он выехал с надеждой немедленно вернуться, так как резиденцией русского полномочного министра, как и министра английского, назначен был Тавриз. Судьбе угодно было, чтобы он вернулся уже в гробу.

В Тегеране русского посланника встретили с такими почестями, которых никогда не оказывали в Персии ни одному европейцу. Шах принял его чрезвычайно благосклонно; он пожаловал ему орден Льва и Солнца 1-ой степени, а всем членам миссии отправил богатые подарки.

Исполнив свои поручения, Грибоедов готовился уже выехать в Тавриз; состоялась уже прощальная аудиенция у шаха, лошади и катера были готовы к отъезду, как вдруг одно неожиданное обстоятельство перевернуло все вверх дном и привело к страшным последствиям.

Некто армянин Мирза-Якуб, евнух, служивший более пятнадцати лет при гареме шаха казначеем, ночью явился к посланнику и выразил ему желание возвратиться в Эривань. Грибоедов отвечал, что ночью ищут прибежища только одни преступники и что министр русского императора

оказывает свое покровительство не тайно, а явно. Якуб удалился, но на следующий день явился снова. Грибоедов пробовал уговорить его остаться в Тегеране, доказывал ему, что он здесь человек знатный, тогда как в России совершенно ничего значить не может и тому подобное. Якуб остался непреклонным. Грибоедов уже не мог без ущерба достоинства русского посланника отказать ему в покровительстве и оставил его у себя, чтобы препроводить в Эривань.

Шах принял это обстоятельство как личную обиду. Якуб в течение многих лет занимал при нем должность главного евнуха и, поселившись вне Персии, мог дать тайнам шахского гарема полнейшую огласку. Гнев шаха был беспределен. Когда Грибоедов послал взять оставшееся в доме Якуба имущество, когда оно уже было навьючено на катеров, явились шахские ферраши, и навьюченные катера были отняты и отведены в дом шахского казначея. Весь персидский двор был в неопisanном волнении. Раз двадцать в день приходили к Грибоедову посланцы от шаха с самыми нелепыми представлениями; они говорили, что евнух то же, что шахская жена, и что, следовательно, посланник отобрал у шаха жену его. Грибоедов отвечал, что Якуб, на основании только что заключенного трактата, теперь русский подданный и что посланник не имеет права отказать ему в покровительстве, а тем более выдать его. Тогда персияне прибегли к другому средству: они предъявили на Якуба огромные денежные требования, до ста пятидесяти тысяч рублей, заявляя, что он обворовал шахскую казну и потому отпущен быть не может. Чтобы разъяснить это обстоятельство, Грибоедов вынужден был отправить Якуба к шахскому казначею, но в сопровождении своего переводчика. Комната, куда они вошли, была наполнена хаджами, которые все сразу кинулись с бранью на Якуба. Тот не остался в долгу – и, таким образом, кроме ругательств ничего из всего этого не вышло. Тогда шах назначил

духовный суд над Якубом. Грибоедов изъявил и на это согласие, но с тем, чтобы на суде присутствовал секретарь русского посольства, Мальцев. Вероятно, последнее обстоятельство было причиной того, что суд не состоялся; персияне сами от него отказались, так как никаких доказательств виновности Якуба в чем-либо не было. Между тем Грибоедов, по указанию того же Якуба, потребовал из гарема Аллаяр-хана двух пленных армянок, которые изъявили желание возвратиться на родину. Это переполнило чашу негодования персидских вельмож; и не без их подстрекательства, конечно, вспыхнул в городе мятеж, скоро достигший крайнего ожесточения.

Во главе движения стал сам муждтехид, верховный мулла тегеранский, Мирза-Месих, известный фанатик, изувер. Он пустил слух, разнесшийся по всему городу, что Якуб ругает магометанскую веру. «Как, – говорил он в собрании хаджей, – этот человек двадцать лет исповедывал нашу религию, читал наши книги, а теперь поедет в Россию, чтобы надругаться над нашей верой? Он должен умереть». Распущен был также слух, что в доме посланника силой удерживают женщин и принуждают их к отступничеству от мусульманства. Народ кричал: «Не мы писали мирный договор с Россией!.. Мы не потерпим, чтобы русские разрушали нашу веру». И народ требовал освобождения задержанных. Ахунды ходили по площадям и кричали: «Правоверные! Запирайте завтра базары, идите в мечети, там вы услышите наше слово».

Наступило роковое 30 число января. Базар был заперт, и народ с утра толпился в тегеранской соборной мечети. Муждтехид сказал зажигательную речь. Толпа, быстро выросшая до нескольких тысяч, бросилась к дому посланника. И пока одни с обнаженными кинжалами врывались во двор, другие влезали на крыши соседних домов, предвидя кровавое зрелище, и лютыми криками выражали свою радость.

Не встретив никакого сопротивления со стороны караульных сарбазов, не имевших при себе даже ружей, сложенных, как впоследствии оказалось, на чердаке, толпа вломилась во двор. Первой жертвой ее стал Мирза-Якуб, — ему отрубили голову. Затем были убиты переводчик Дадымов и двое прислужников. Персидский караул бежал. Казаки около часу отстреливались от наступавшей многолюдной и свирепой толпы, но их было мало, и, смятые массой, они были, наконец, все изрублены. По трупам этих людей убийцы бросились в дом, где было русское посольство. Там вместе с Грибоедовым находились князь Меликов, родственник его жены, второй секретарь посольства Аделунг, медик и несколько человек прислуги. На крыльце убийцы встречены были храбрым грузином Хочетуром. Он некоторое время один держался против целой сотни людей. Но когда у него в руках сломалась сабля, народ буквально растерзал его на части. Присутствие принимал все более и более страшный характер: одни из персиян ломались в двери, другие проворно разбирали крышу и сверху стреляли по свите посланника; ранен был в это время и сам Грибоедов, а его молочный брат и двое грузин убиты. Медик посольства обнаружил при этом необыкновенную храбрость и присутствие духа. Видя неизбежность гибели, он вздумал проложить себе дорогу, через двор маленькой европейской шпагой. Ему отрубили левую руку, которая упала к ногам его. Он вбежал тогда в ближайшую комнату, оторвал с дверей занавес, обернул им свою страшную рану и выпрыгнул в окно; рассвирепевшая чернь добила его градом камней. Между тем свита посланника, отступая шаг за шагом, укрылась наконец в последней комнате и отчаянно защищалась, все еще не теряя надежды на помощь шахского войска. Смелчаки из нападавших, хотевшие было ворваться в двери, были изрублены. Но вдруг пламя и дым охватили комнату; персияне

разобрали крышу и подожгли потолок. Пользуясь смятением осажденных, народ ворвался в комнату, — и началось беспощадное избиение русских. Рядом с Грибоедовым был изрублен казачий урядник, который до последней минуты заслонял его своей грудью. Сам Грибоедов отчаянно защищался шашкой и пал под ударами нескольких кинжалов... Обезображенный труп его вместе с другими был три дня игральшем тегеранской черни и узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетной пулей Якубовича.

Любопытны слова Пушкина по поводу смерти Грибоедова: «Я ничего не знал, — говорит он, — счастливее и завиднее последних дней бурной его жизни. Сама смерть, постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна». Позднее, когда разъяренная чернь уже доканчивала свое кровавое дело, пришла, наконец, сотня шахских сарбазов; но у этого войска не было патронов, и оно имело к тому же приказание действовать против черни красноречием, а не штыками.

После избиения посла и его свиты начался грабеж. Персияне с криком и дракой делили между собой деньги, бумаги и разные ценные вещи. Само жилище посланника было разрушено, и развалины его существуют поныне как памятник ужасного события, заставляя содрогнуться каждого, кто посетит это несчастное место.

Последний долг печальным останкам Грибоедова был отдан духовенством в армянской церкви, где было выставлено его тело. Прочих, убитых с ним, похоронили в общей могиле, за стенами Тегерана, где они оставались до 1836 года. В этом году кости их были выкопаны и преданы земле в заранее приготовленном склепе среди самого города. Нельзя не заметить, что персияне, допустив перенесение христианских тел в город, должны были победить вековой предрассудок, которого до этого времени упорно держались.

В кровавый день 30 января погибло, по свидетельству Мальцева, тридцать семь человек русских и девятнадцать тегеранских жителей. Но персидские историки показывают, однако же, что убитых мусульман было не менее восьмидесяти человек. Из всей русской миссии остался в живых только Мальцев, состоявший при Грибоедове в качестве первого секретаря. Молодой человек, одаренный счастливыми способностями, он познакомился в Тегеране с каким-то ханом, жившим рядом с домом посланника, часто его навещал и ему обязан был своим спасением. Рассказывают, что хан этот полюбил и привязался к Мальцеву, и уговорил его, в самом начале катастрофы, укрыться в его доме, а вечером, переодетого в сарбазское платье, доставил во дворец Зилли-Султана, где Мальцев и пробыл до отправления в Тифлис.

Так представляется в своих внешних чертах неслыханное дело убийства русского посланника в Тегеране. Ближайшее расследование обстоятельств намекает, однако, что причины этого события лежат глубже, чем это представляется с первого взгляда. К сожалению, эти причины остаются и поныне невыясненными. Персидские историки утверждают, что Грибоедов, увлекшись успехами русского оружия в Азербайджане, держал себя непомерно гордо, оскорблял шаха непристойным и беззастенчивым обращением с ним, что люди, находившиеся при посольстве, позволяли себе разные насилия, что, наконец, посланником были незаконно задержаны женщины, которых, будто бы, хотели обратить силой в христианскую веру.

Говорят, действительно, что свита Грибоедова, особенно армяне и грузины, вели себя не совсем пристойно, но бестактность этих третьестепенных лиц посольства была обстоятельством во всяком случае настолько маловажным, что о нем не стоит и распространяться. Что же касается

задержания женщин, то есть свидетельства совершенно противоположные, показывающие, что Грибоедов никого не брал с собой насильно. Известен, например, факт, что когда, на пути к Тегерану, в Казвине, к нему приведены были от одного сеида две женщины, одна армянка, а другая немка из Екатеринфельдской колонии, разбитой персиянами, и обе они заявили, что желают остаться в Персии, то Грибоедов немедленно возвратил их сеиду, и эта справедливость его заставила громко говорить о себе не только весь город, а и всю Персию. Впрочем, и в переписке, возникшей между Грибоедовым и персидскими министрами, много было говорено относительно Мирзы-Якуба, но не было даже и речи о женщинах; о них стали говорить лишь после смерти посланника. Берже, нужно думать, частью прав, полагая, что главная ошибка Грибоедова заключалась не в задержании этих женщин, – он имел право на это по смыслу туркменчайского договора, – а в том, что он, действительно, зашел в своих требованиях слишком далеко и коснулся гаремов лиц слишком значительных и важных. Паскевич думал, что все внешние поводы возмущения, история с Якубом, женщины и тому подобное, суть только ширмы, за которыми скрывался Аллайр-хан. Он всегда был явным противником Аббаса-Мирзы и сильнейшей опорой враждебных ему братьев. И теперь с некоторым правдоподобием можно было заключить, что вся тегеранская история была обдуманной игрой самого вероломного коварства. Аллайр-хан мог желать снова вовлечь шаха в войну с русскими, чтобы истребить совершенно династию Каджаров или же отдалить Аббаса-Мирзу от наследства Персии в пользу одного из его братьев.

«При неизвестности всех обстоятельств дела, можно предположить даже, – писал Паскевич, – что англичане не вовсе были чужды участия в возмущении черни, хотя, может

быть, и не предвидели пагубных последствий его; ибо они равнодушно смотрели на перевес в Персии русского министерства и на уничтожение собственного их влияния».

Предположение Паскевича об участии англичан не лишено веского основания. Англия теряла слишком много, чтобы примириться со своей второстепенной ролью, в которую поставило ее стечение несчастных обстоятельств, – и естественно могла пустить в ход свои обычные интриги. Правда, желая выразить ужас и скорбь по случаю катастрофы, английский министр Макдональд предложил всем великобританским подданным, находившимся в Персии, облачиться в траур и даже протестовал перед персидским правительством, говоря, что история народов не представляет подобного ужасного случая, когда бы миссия дружественной нации погибла среди совершенного мира, и притом в столице самого государя – но все это могло быть только простым соблюдением внешних международных приличий со стороны дипломата, ровно ничего не теряющего от выраженного им чувства негодования. В самой Персии предположения о тайном влиянии англичан находили себе полную веру.

Один из адъютантов Аббаса-Мирзы сказал даже по этому случаю следующую притчу: «Однажды чертова жена со своим ребенком сидела неподалеку от дороги в кустах. Вдруг показался путник с тяжелой ношей на спине и, поравнявшись с тем местом, где сидели черти, споткнулся о камень и упал. Поднимаясь, он с сердцем произнес: “Будь же ты, черт, проклят!” – “Как люди несправедливы, – сказал чертенок, обращаясь к матери, – мы так далеко от камня, а все же виноваты”. – “Молчи, – отвечала мать, – хотя мы и далеко, но хвост мой спрятан там, под камнем”. Вот так-то, – заключил персиянин, – было и в деле с Грибоедовым; англичане хотя и жили в Тавризе, но хвост их все же был скрыт в русской миссии в Тегеране...»

Дальнейшее поведение англичан не лишено было и некоторых странностей, которые как бы подтверждают эти предположения. Когда, например, тело Грибоедова привезли в Тавриз, то, как доносил Паскевичу Мальцев, никто из англичан не выехал навстречу; по их настоянию гроб не ввезли даже в город, а поставили в маленькой загородной армянской церкви, которой также никто из англичан не посетил. От Наиб-султана не было оказано телу покойного Грибоедова никаких почестей, даже не был приставлен почетный караул, – и есть некоторый повод думать, что Аббас-Мирза так поступил в угоду Макдональду. «Признаюсь, – писал Мальцев, – что я такой низости никогда не предполагал в английском посланнике. Неужели и в том находит он пользу для ост-индской компании, чтобы мстить человеку даже после его смерти...»

Впрочем, какие бы ни были посторонние причины убийства русского посланника, достоинство Империи требовало примерного возмездия за неслыханное нарушение прав международных.

Поэтому серьезнейшим вопросом во всем этом деле было то, какое участие в печальном происшествии принимало само персидское правительство? Старый муджтехид, вышедший в Россию из Тавриза, утверждал, что злодейство совершено с умыслом, с целью показать народу, что персидское правительство вовсе не так боится русских, как думают. Можно было также допустить, что шаху, по крайней мере, не безызвестны были приготовления к восстанию, но что цель возмущения состояла вовсе не в истреблении русского посольства; шах не хотел только мешать народу убить Якуба, смерть которого была ему желательна, а потом, когда разъяренная чернь добралась и до русских, он оказался уже бессилён остановить мятежников.

Никаких серьезных оснований даже к последним заключениям, однако, не оказалось, и до войны, которая

была бы в противном случае неизбежна, дело не дошло. Все ограничилось приездом принца Хозров-Мирзы в Петербург, где он от лица шаха просил императора предать вечному забвению роковые события 30 января.

Известие о смерти Грибоедова пришло в Петербург 4 марта, то есть, по странному стечению обстоятельств, в тот самый день, когда, за год перед тем, он прибыл в Петербург с известием о Туркменчайском мире. Император Николай Павлович с глубоким чувством сожаления узнал о преждевременной бедственной кончине своего министра в Персии. Он принял живейшее участие в его осиротевшей семье, лишившейся всего достояния, так как наличные деньги и банковские билеты, принадлежавшие Грибоедову, на сумму около шестидесяти тысяч рублей, были разграблены персиянами. В вознаграждение заслуг Грибоедова, он пожаловал вдове и матери покойного по тридцать тысяч рублей одновременно и по пяти тысяч рублей ассигнациями пенсии. Впоследствии, по ходатайству князя Воронцова, пенсия вдове Грибоедова была увеличена еще на две тысячи рублей ассигнациями.*

* В один из февральских дней 1829 года весь Тифлис был поражен страшной вестью, что русская миссия истреблена в Тегеране. Впечатление было тем сильнее, что никто не ожидал подобной катастрофы, так как отношения между Персией и Россией были, по-видимому, самые дружественные. Еще за несколько дней перед тем Паскевич в торжественной аудиенции принимал у себя персидского посланника, Мирзу-Салеха, привезшего ему бриллиантовый орден Льва и Солнца 1-й степени как знак особого благоволения Фетх-Али-шаха. И Мирза-Салех, оставивший Тегеран среди невозмутимого спокойствия, теперь не менее других был поражен и удивлен катастрофой, совершившейся среди глубокого мира, в столице шаха, который из своего дворца мог слушать шум, смятение и вопли избиваемых жертв. Гибель посольства дружественной нации на глазах властей, которые по всем международным обычаям и законам обязаны были ее защищать, была таким событием, бедственных последствий которого никто не мог предвидеть. Было ясно, что оскорбительный

Останки Грибоедова долгое время оставались в Тегеране, и только спустя три месяца были вывезены оттуда шестнадцатилетней вдовой его, которая свято исполнила желание мужа, сказавшего ей однажды, в минуты мрачного предчувствия: «Не оставляй костей моих в Персии и похорони меня в Тифлисе, в церкви Св. Давида».

поступок не мог пройти Персии даром, – достоинство России требовало примерного возмездия, и новая война казалась неизбежной. Между тем война с Турцией поглощала в тот момент все русские силы и заставляла действовать по отношению к Персии с величайшей осторожностью.

К счастью, русское правительство должно было признать, что шах и его министры не были причастны к гнусному злодеянию, и император Николай признал достаточным для восстановления погрязших прав России, чтобы шах, наказав преступников, прислал в Петербург торжественное извинение через одного из принцев крови. Персидское правительство подчинилось этому решению, Аббас-Мирза приготовился сам ехать в Петербург; но император Николай признал неудобным такое долговременное отсутствие в Персии наследника престола. «Постигая пагубное влияние коварных замыслов, которые колеблют спокойствие Персии, – писал ему государь, – я признаю ваше присутствие в Тавризе необходимым для укрощения буйства и предупреждения происков, а потому приглашаю вас не удаляться из ваших пределов в столь сомнительное время. Я почту достаточным возмездием оскорбленному достоинству Российской Империи, когда шах пришлет торжественное извинение через одного из сыновей своих или ваших, в сопровождении кого-либо из доверенных вельмож». Выбор пал на Хосров-Мирзу, пятнадцатилетнего сына наследника персидского трона.

Дружественное решение, принятое по отношению к России персидским двором, встревожило английскую миссию. Рассказывают, что, узнав о сборах Хосров-Мирзы в Петербург, Макдональд сказал, что ему в Тавризе делать больше нечего и что он поедет в Кирман-шах, чтобы собрать там партию в пользу Хассан-Али-Мирзы против наследника. Интриги и запугивания англичан не имели, однако, на этот раз успеха.

2 мая 1829 года Хосров, в сопровождении Мамед-хана, одного из важнейших сановников Персии, начальника регулярных войск (эмир-низама), переехал русскую границу. У городской заставы его встретил начальник корпусного штаба, барон Остен-Сакен. Принц пересел в коляску и отправился прямо к графу Паскевичу...

Печальная церемония перенесения праха Грибоедова из Персии в русские пределы совершилась 1 мая 1829 года. Когда тело его, переправленное через Аракс, вступило на родную землю, его встретили батальон Тифлисского пехотного полка с двумя орудиями, масса народа, духовенство и все военные и гражданские власти Нахичеванской области. Особая комиссия немедленно приступила к вскрытию гроба. По словам Амбургера, тело покойного уже не имело и признаков прежнего вида; по-видимому, оно было ужасно изрублено и избито камнями; к тому же оно предалось уже сильному тлению. Гроб заколотили снова и залили нефтью. Отслужена была торжественная панихида, и при возглашении вечной памяти «убиенному боярину Александру» гроб был поставлен на особые дроги, под великолепный балдахин, нарочно заказанный для этого случая генералом Мерлини. Батальон тифлисцев отдал покойному воинскую честь, – и тихо и величественно началось траурное шествие при звуках похоронного марша.

Никогда еще окрестным магометанам не приводилось видеть подобные пышные похороны. Черные дроги, везомые шестью лошадьми, укутанными с головы до ног черными попонами, люди в необычайных траурных мантиях и шляпах, ведущие лошадей под уздцы, длинный ряд факельщиков по обе стороны гроба, роскошно убранный балдахин, войско, идущее с опущенным долу оружием, рыдающие звуки музыки, – все это производило сильнейшее впечатление. Кроме русского священника на встречу покойного вышло все армянское духовенство, с епископом во главе, и это придало еще более величия печальному шествию. Так процессия достигла Алинджа-чая.

2 мая шествие приблизилось к Нахичеванскому мосту и остановилось. Духовенство облачилось в ризы; весь город, от мала до велика, вышел навстречу Грибоедову и

сопровождал гроб, несомый офицерами на руках, до самой площади, где стояла армянская церковь. Около храма густые толпы народа теснились всю ночь. «И трогательно было видеть, – говорит очевидец, – то живое участие, которое принимали решительно все в злополучной участи покойного министра. Между женщинами слышались громкие рыдания, и они всю ночь не выходили из церкви. Это были армянки, – и их участие, конечно, делает честь этому народу».

Всю ночь стекались жители из окрестных селений, и на следующий день, 3 мая, когда похоронное шествие направилось из города далее, стечение народа было так велико, что, по словам очевидца, трудно было поверить, чтобы Нахичевань могла вместить в себе такое огромное население. Народ провожал покойного до второго источника по эриванской дороге. Здесь отслужена была последняя лития, гроб сняли с колесницы и повезли дальше уже на простой грузинской арбе, так как горная дорога не допускала торжественного шествия. Поручик Макаров с несколькими солдатами Тифлисского полка назначен был сопроводить гроб до Тифлиса.

В этой печальной обстановке прах Грибоедова и был встречен около Гергер, на Безобдале, А. С. Пушкиным. «Два вола, – рассказывает он в своем “Путешествии в Арзерум”, – впряженные в арбу, поднимались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. “Откуда вы?” – спросил я их. – “Из Тегерана”. – “Что везете?” – “Грибоедова”. Это было тело Грибоедова, которое препровождали в Тифлис».

Карантины на эриванской дороге замедлили прибытие тела Грибоедова в Тифлис до последних чисел июня. С того времени и по 18 июля, день, назначенный для погребения, оно простояло также в карантине, в трех верстах от

города. Накануне, поздно вечером, тело перевезено было в Тифлис, в Сионский собор, с печальной торжественностью. Дорога к городской заставе шла по правому берегу Куры, а по обеим сторонам ее тянулись виноградные сады, огороженные высокими каменными стенами. Ничто кругом не говорило о смерти – и тем величавее и трогательнее было печальное шествие. Сумрак вечера, озаряемый факелами, стены, сплошь униженные плачущими грузинками, окутанными в белые чадры, величественное, раздирающее душу пение, толпы народа за колесницей, наконец, воспоминание об ужасной кончине того, кто теперь приближался к городу на вечное упокоение в нем, – все это глубоко западало в душу и терзало тех, кто знал и научился любить покойного. Вдова, осужденная в самом расцвете своей молодости испытать такое страшное горе, стояла с семьей у городской заставы, и едва свет первого факела возвестил о приближении дорогого праха, она упала в обморок и долго, несмотря на все меры, оставалась без чувств.

На другой день Грибоедова торжественно, в присутствии всей знати и всего населения города, отпели. Экзарх Грузии, митрополит Иона, едва и сам могущий говорить от рыданий, сказал трогательное надгробное слово. И затем тело отвезли для погребения в монастырь Св. Давида. Все население города вышло на ту улицу, по которой проходила из Сионского собора процессия, и провожало ее с горестными чувствами к монастырю.

Вдова Грибоедова осталась неутешной. Грибоедов имел редкое, хотя и слишком кратковременное, счастье найти в супруге истинного друга, полного к нему любви и уважения. Пораженная своей незаменимой потерей, Нина Александровна Грибоедова, в полном расцвете своей красоты, решила остаться верной своей первой любви и памяти мужа. Она представляла собой глубоко трогательное

зрелище человека, не принадлежащего себе, отдавшего любимой идее. Русский поэт (Я. П. Полонский), встретивший ее на жизненном пути, был поражен ее душевной красотой и самоотверженной преданностью памяти гениального ее мужа и выразил свои чувства в следующем теплом стихотворении, превосходно изображающем ее трогательную судьбу:

I

Не князь, красавец молодой,
Внук иверских царей,
Был сокровенною мечтой
Ее цветущих дней;
Не вожь грузинских удалцов –
Гроза соседних гор –
Признаньем вынудил ее
Потупить ясный взор;
Не там, где слышат валуны
Плеск алазанских струй,
Впервые прозвучал ее
Заветный поцелуй.
Нет, зацвела ее любовь
И расцвела печаль
В том жарком городе, где нам
Прошедшего не жаль...
Где грезится сазандарам
Святая старина,
Где часто музыка слышна,
И веют знамена.

II

В Тифлисе я ее встречал,
Вникал в ее черты...
То – тень весны была, в тени
Осенней красоты.

Не весела, и не грустна,
 Где б ни была она,
 Повсюду на ее лице
 Царила тишина.
 Ни пышный блеск, ни резвый шум
 Полуночных балов,
 Ни барабанный бой, ни вой
 Охотничьих рогов,
 Ни смех пустой, ни приговор
 Коварной клеветы, –
 Ничто не возмущало в ней
 Таинственной мечты;
 Как будто слава, отразясь
 На ней своим лучом,
 В ней берегла покой души
 И грезы о былом.
 Хоть горя вечного понять
 Не может праздный свет,
 Она не без улыбки шла
 К нему на склоне лет;
 Хоть не видна была на ней
 Страдания печать,
 Я не решался никогда
 При ней вспоминать
 О том, кто горе от ума
 Изведав, завещал
 Ей всепрощающую скорбь
 И веру в идеал...

III

Я помню час, когда вдали
 Вершин седые льды
 Румянцем вспыхнули, и тень
 С холмов сошла в сады;
 Когда Метех с своей скалой
 Стоял, как бы в дыму,

И уходил сионский крест
 В ночную полутьму.
 Она сидела на крыльце,
 С поникшей головой,
 И, помню, кроткий взор ее
 Увлажен был слезой.
 Вот вспыхнул месяц за горой,
 Как лампа, в синей мгле,
 Но яркий луч ее бледнел
 На молодом челе...
 Иль о недавней старине
 Намек нескромный мой
 Смутил ее больной души
 Таинственный покой,
 Или воспоминанья вдруг
 Проснулись и пришли,
 И стал к ней близким тот, кто был
 Далеким от земли...
 Она молчала; в этот миг
 Я скорбь ее любил,
 И чудилось мне, взор ее
 Со мной заговорил:
 «Поймите, я с тех пор, как он
 Погиб, чужда страстей,
 Живу – уже не для себя,
 И вряд ли для друзей!
 Поймите, посреди живых
 Я тень его люблю!
 Вы знаете... но знают все
 Историю мою.

IV

Он русским послан был царем,
 В Иран держал свой путь
 И на пути заехал к нам
 Душою отдохнуть.

Желанный гость, он принят был
 Как друг моим отцом;
 Не в первый раз входил он к нам
 В гостеприимный дом.
 Но не был весел он в тени
 Развесистых чинар,
 Где на коврах не раз нам пел
 Заезжий сазандарь,
 Где наше пенилось вино,
 Дымился наш кальян,
 И улыбалась жизнь гостям
 Сквозь радужный туман.
 И был задумчив он, когда,
 Как бы сквозь тихий сон,
 Пронизывался лунный свет
 На темный наш балкон.
 Его горячая душа,
 Его могучий ум
 Влачили всюду за собой
 Груз неотвязных дум.
 Напрасно Север ледяной
 Рукоплескал ему, –
 Он там оставил за собой
 Бездушную зиму,
 Он там холодные сердца
 Оставил за собой;
 Лишь я одна могла ему
 Откликнуться душой.
 Он так давно меня любил,
 И так был рад, так рад,
 Когда вдруг понял, отчего
 Туманится мой взгляд.

V

И скоро перед алтарем
 Мы с ним навек сошлись...

Казалось, праздновал весь мир
 И ликовал Тифлис.
 Всю ночь к нам с ветром долетал
 Зурны тягучий звук
 И мерный бубна стук и гул
 От хлопающих рук.
 И не хотели погасать
 Далекie огни,
 Когда, лампаду засветив,
 Остались мы одни.
 И не хотела ночь унять
 Далекой пляски шум,
 Когда с души его больной
 Скатилось бремя дум,
 Чтоб не предвидел он конца
 Своих блаженных, дней,
 При виде брачного кольца
 И ласковых очей.

VI

Но час настал: посол царя
 Умчался в Тегеран.
 Прощай, любви моей заря!
 Пал на сердце туман.
 Как в темноте рассвета ждут,
 Чтоб страхи разогнать,
 Так я ждала его, ждала,
 Не уставала ждать!
 Еще мой верующий ум
 Был грезами повит, –
 Как вдруг... вдруг грянула молва,
 Что он убит... убит!
 Что он из плена бедных жен
 Хотел мужьям вернуть;
 Что с изуверами в бою
 Он пал, пронзенный в грудь;

Что труп его, кровавый труп,
 Поруган был толпой
 И что скрипучая арба
 Везет его домой.
 Все эти вести в сердце мне
 Со всех сторон неслись...
 Но не скрипучая арба
 Везла его в Тифлис.
 Нет, осторожно между гор,
 Ущелий и стремнин
 Шесть траурных коней везли
 Парадный балдахин.
 Сопровождали гроб его
 Лавровые венки,
 И пушки жерлами назад,
 И пики, и штыки...
 Дымились факелы, и гул
 Колес был эхом гор,
 И память вечную о нем
 Пел многолюдный хор.
 И я пошла его встречать.
 И весь Тифлис со мной
 К заставе Эриванской шел
 Растроганной толпой.
 На кровлях плакали, когда
 Без чувств упала я.
 О, для чего пережила
 Его любовь моя!

VII

И положила я его
 На той скале, где спит
 Семья гробниц и где святой
 Давид их сторожит,
 Где раньше, чем заглянет к нам
 В окошки алый свет,

Заря под своды алтаря
 Шлет пламенный привет;
 На той скале, где в бурный час
 Зимой, издалека
 Причалив, плачут по весне
 Ночные облака,
 Куда весной, по четвергам,
 Бредут на ранний звон,
 Тропинкой каменной, в чадрах,
 Толпы грузинских жен. –
 Бредут нередко в страшный зной,
 Одни – просить детей
 Другие воротить мольбой
 Простывших к ним мужей, –
 Там в темном гроте – мавзолей,
 И – скромный дар вдовы –
 Лампадка светит в полутьме,
 Чтоб прочитали вы
 Ту надпись, и чтоб вам она
 Напомнила сама
 Два горя: “Горе от любви
 И горе от ума”».

Прошло двадцать восемь лет, – и под тем же камнем, где покоятся останки творца бессмертной комедии, рядом с ним, похоронили и супругу его. Она скончалась в 1857 году, на сорок шестом году своей прекрасной жизни.

И ныне всякий русский, проезжая Тифлис, посетит дорогую могилу, в которой сокрыта одна из слав нашей родины. На западной стороне города возвышается святая гора Мтацминда, на которую в прихотливых зигзагах вьется, подобно ленте, узкая тропинка для пешеходов. На одном из уступов святой горы, на половине ее высоты, виднеется женский монастырь св. Давида, как будто гнездо ласточки, прикрепленное к скале. Этот уголок, который Грибоедов называл «поэтической принадлежностью Тифлиса», –

прекрасен. Вид с монастырской террасы очарователен: весь Тифлис виден отсюда как на ладони. На востоке сверкает быстрая Кура; за ней, вдали, синеют горы благословенной Кахетии; шумный город с его полуевропейской и полуазиатской физиономией далеко внизу – вы стоите между небом и землей. Здесь, перед величавой картиной, которая так нравилась Грибоедову, и покоится прах его, в гроте под тяжелыми сводами, имеющем вид красивой часовни. Внутри грота – бронзовый памятник. На возвышенном пьедестале поставлена прекрасная статуя, работы известного художника Кампиони, изображающая женщину, склонившуюся на колени перед гробовой урной у подножия креста. «В позе молящейся так много грации, так живо выражена в ней глубокая скорбь, – говорит один из путешественников, – что вы не только любуетесь ею как высшим проявлением искусства, но вы сочувствуете ей как существу живому». У ног коленопреклоненной с одной стороны крест и евангелие – символы страдания и веры, с другой – раскрытая книга, на корешке которой короткая надпись:

«Горе от ума». На одной стороне пьедестала барельефом сделан портрет покойного писателя, а под ним начертано золотыми буквами:

«Александр Сергеевич Грибоедов. Родился 1795 года, января 4. Убит в Тегеране 1829 года, января 30».

На другой стороне пьедестала надпись: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской; но для чего пережила тебя любовь моя?»
